

Леонид Николаевич Андреев

Он



Леонид Николаевич Андреев
Он

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=146515

Содержание

I	4
II	12
III	20
IV	34
V	39
VI	47
VII	54
VIII	61

Леонид Андреев

Он

Рассказ неизвестного

I

Я был пьян от радости, я благодарил судьбу: мне, голодному студенту, уже выгнанному из университета за невзнос платы, на последние сорок копеек сделавшему объявление о занятиях, – вдруг попался богатейший урок. Это было в конце октября, в темное петербургское октябрьское утро, когда я получил письмо с просьбою пожаловать для переговоров в гостиницу «Франция» на Морской; а через полтора часа – еще не кончился дождь, под которым я шел из дому, – я уже имел урок, пристанище, двадцать рублей денег. Как во сне, как в сказке! И все было очаровательно: богатая гостиница, великолепный номер, в который меня провели, и необыкновенно любезный, необыкновенно предупредительный и ласковый господин, который меня нанял. От волнения, страха и радости я разобрал только, что господин этот уже в годах и одет прекрасно, как умеют одеваться только богатые люди, с детства привыкшие к хорошему платью. На все его условия я, конечно, был согласен: жить в деревне, иметь собственную

комнату, заниматься с мальчиком восьми лет и даром получать пятьдесят рублей в месяц.

– А море вы любите? – спросил меня Норден («господин» я не буду прибавлять в рассказе).

Я мог только пробормотать:

– Море? О Господи...

Он даже засмеялся:

– Ну конечно. Кто же в молодости не любит моря! Вам будет у нас приятно: вы увидите прекрасное море... немного серое, немного печальное, но умеющее и гневаться и улыбаться. Вы будете довольны.

– Ну еще бы!

Я засмеялся, и, отвечая мне смехом, Норден неожиданно добавил:

– В этом море утонула моя дочь, уже взрослая девушка. Елена. Пять лет тому назад.

На это я так ничего и не ответил. Не нашелся. И, кроме того, меня смущала его улыбка – говорит о смерти дочери, а сам улыбается; и я даже не поверил ему, подумал, что он просто шутит. Денег, двадцать рублей, он сам предложил мне, и при этом, с крайней доверчивостью, не только не взял расписки или паспорта, но даже не спросил моей фамилии; в другое время я нисколько не удивился бы такой доверчивости, но тут я был так голоден, растрепан, и такие у меня были мокрые чулки, что я сам себе не доверял. Ведь я же был выгнан из университета за невзнос платы.

Но только к хорошему скоро привыкаешь. Только неделя прошла, как я поселился у Норден, а уже стала привычной вся роскошь моей жизни: и собственная комната, и чувство приятной и ровной сытости, и тепло, и сухие ноги. И по мере того, как я все дальше отходил от Петербурга с его голодовками, пятачками и гривенниками, всей дешевкою студенческой борьбы за существование, новая жизнь вставала передо мною в очень странных, совсем не веселых и нисколько не шуточных формах.

Я еще писал товарищам о том, как я изумительно устроился, а мне уже было невесело, просто невесело; и причину состояния этого я долго не мог найти, так как по виду все было прекрасно, красиво, весело, и нигде так много не смеялись, как у Норден. Только шаг за шагом проникая в тайники этого странного дома и этой странной семьи, – вернее, лишь касаясь прикосновением внешним их холодных стен, я начал догадываться об источниках тяжелой грусти, томительной тоски, лежавшей над людьми и местом.

Начну с места. Дом и сад находились на самом берегу моря, и двухэтажный дом был велик, поместителен, даже роскошен: мне, приبلудному студенту, гольтепе, отвели в нижнем этаже такую комнату, словно я был заезжий сановник или друг дома, оставшийся переночевать. Был великолепен и сад; и немалых, вероятно, трудов и денег стоило его устройство, его растительная роскошь среди суровой и бедной природы, знавшей только песок, да ели, да камни, да предут-

ренные холодные туманы и ветер от серой, плакучей воды. Стояли тут и липы, и какие-то голубые ели, и даже каштан; было много цветов, целые кусты роз, жасмину, а пространство между этими никогда, как мне казалось, не могущими согреться растениями заполнял изумительно ровный, изумительно зеленый газон. И все, кто через ограду видел сад, находили его очень красивым и завидовали его владельцу; и сам Норден гордился садом, и я, как только увидел, пришел в искренний, горячий восторг. Но было что-то в расположении деревьев – слишком одиноких, слишком открыто росших среди ровного газона, вечно чужих и вечно одиноких, – что уже вскоре начинало томить чувством холодной неудовлетворенности, смутным сознанием какой-то глубокой и печальной неправды, горькой ошибки, потерянного счастья.

Почему не было следов на дорожках? В доме жило много народу, было трое детей, и часто гуляли они по саду, но в воспоминании сад всегда казался пустым, и не было следов на дорожках.

Сам Норден очень гордился этим свойством, объяснял его тем, что сделаны дорожки искусно, из особенной смеси глины и песку, и хорошо усыпаны гравием; поэтому даже после проливных дождей не сохраняют следа даже самой тяжелой ноги. Но мне это не понравилось, и я откровенно сказал об этом Нордену. Он долго смеялся, – я не мог понять, отчего он смеется? – осторожно и крайне любезно коснулся моего

локтя и сказал:

– А вы посмотрите утром. Если бы даже были следы, они должны были исчезнуть. Вы посмотрите рано утром.

И, точно по приказу, я проснулся рано утром, еще в полутьме, протер вспотевшее окно и увидел: по дорожке медленно двигались трое темных и, нагнувшись, волокли что-то за собой. Я понял, что это рабочие Нордена и что железными граблями они сдирают следы минувшего дня и ночи минувшей, – но мне не понравилось и это.

Разве только и есть следы что от ног? Ребенок мог забыть игрушку – дети всегда разбрасывают игрушки, рабочий мог оставить лопату или грабли, но здесь никто ничего не забывал, никто ничего не оставлял. Последние листья роняли деревья, и это было вовсе не весело: потемневшие, свернувшиеся листья, безнадежно припавшие к холодному гравию, – но и их убирала все та же покорная рука, сдиравшая следы. Порою казалось, что кто-то, быть может, сам Норден, отчаянно борется с воспоминаниями и делает так, чтоб все было пусто; но чем шире разевала рот пустота, тем осязательнее становились изгнанные воспоминания, убитые образы, содранные следы. И я, чужой, непосвященный и не особенно по природе наблюдательный, уже чувствовал, что и меня касаются они – эти темные воспоминания о какой-то горькой ошибке, об утерянном счастье, о печальной неправде.

И вскоре я сделался добровольным сыщиком, искателем следов, и был им до тех пор, пока, подчиняясь чреде со-

бытий, из наблюдателя сам не превратился в наблюдаемого, из разыскивающего – в прячущегося, из преследователя – в преследуемого. Но до тех пор я все искал; и мое печальное воображение, склонное к тягостным вымыслам, – у меня было тяжелое детство и невеселая одинокая юность, – заселило странный сад всевозможными преступлениями, убийствами, смертями. Конечно, я был молод, и когда выпадал солнечный день, особенно радостный среди ноябрьских беспросветных потемок, я смеялся над вымыслами своими; но вот шли туманы с моря, низко опускалось, придушая свет, тяжелое мокрое небо, и я снова слышал, как скребут железом, сдирая следы, трое темных; и снова волновался.

Не знаю, сумел ли бы я найти хоть что-нибудь, если бы сам Норден, гуляя однажды со мной по берегу моря, уже за оградой сада, не указал мне на груды камней, имевших форму пирамиды и скрепленных цементом. Осенние прибои разъели цемент, и кой-какие круглые камни уже повывалились, несколько нарушая правильность формы: быть может, поэтому я и не обратил на нее внимания.

– Видите пирамиду? – сказал Норден. – Хоть и меньше Хеопса, но все же пирамида.

Он засмеялся – чему он постоянно смеялся? – и продолжал:

– Здесь я хотел построить церковь в норманском стиле. Вы любите норманский стиль? Но мне не позволили... такая узость взглядов!

Я молчал, не зная, что сказать: вообще я не находчив. Он подождал, сколько нужно для ответа или для вопроса, и охотно пояснил:

– Как раз на этом месте был найден труп моей дочери, Елены. Сюда головой, сюда ногами. Она утонула, я, кажется, вам говорил.

– Как же это случилось?

– А как тонут молодые люди? – улыбнулся Норден. – Поехала на лодке кататься одна, поднялся шквал, лодку перевернуло... как это обычно случается?..

Я посмотрел на серое море, покрытое мелкою рябью; кое-где чернели голые большие камни, кое-где вода особенно поблескивала – просвечивало дно.

– Здесь очень мелко, – сказал я.

– А она уехала далеко.

– А зачем она уехала далеко?

– А зачем молодые люди уезжают далеко? – засмеялся Норден и крайне любезно коснулся моего локтя. – У меня есть две прекрасные лодки, на зиму мы их прибираем, а весной снова спускаем на воду. Вы любите кататься на лодке?

– А ту лодку тоже прибило на берег?

Норден сперва не понял:

– Какую ту лодку? Ах да, ту? Как же, как же, ее тоже прибило на берег. Но теперь она выкрашена, и ее нельзя узнать: прекрасная прочная лодка. Весной вы сами испробуете ее.

После этого разговора, открывшего, как мне казалось,

многое, на самом же деле не открывшего ничего, я каждый день рассматривал разрушающуюся пирамиду. Сюда головой, сюда ногами. Но зачем же он, так безжалостно сдирающий следы, перекрасивший в белый цвет лодку, в которой утонула его дочь, зачем он этими камнями закрепил память о погибшей? Минутный порыв или обычная нелогичность, свойственная даже самым последовательным людям?

Не знаю. Я как-то не успел об этом подумать. Все мое внимание захватило море – мне показалось, что оно, именно оно, является главным источником той великой печали, что лежала над людьми и местом этим. Оно было...

II

Но раньше я расскажу о доме и о своей жизни среди этих странных и, несмотря на веселость свою, крайне неприятных и тяжелых людей.

По утрам я занимался с Володей. Это был благонаправленный восьмилетний человечек с прекрасными манерами взрослого джентльмена, исполнительный, вежливый и необыкновенно покорный. Он не задирает ног на стол, как другие мои ученики, не ковыряет в носу, не пачкает бумаги и стола и не делает мне никаких гадостей; и каждое замечание мое он выслушивал с таким странным видом, как будто я был сам царь Соломон, а он скромнейший из учеников и подданных его. Верил он мне или только притворялся, что верит, – но было неловко от этого удивительного внимания, благодаря которому самые ничтожные слова мои вдруг приобретали огромную цену и раздувались в гору. Каждый день, кроме праздников, ровно в десять часов над столом появлялась его стриженная, светлая, крупноватая голова, два часа занимала частицу зрения моего и ровно в двенадцать исчезала. Лицо у него было плоское, белое, почтительное, без бровей; и два большие светлые, широко расставленные глаза лежали выпукло, как на тарелке. Мне хотелось надеяться, что выросший Володя покрасивеет. Да, несмотря на свою почтительность, несмотря на то, что он доставлял мне хлопот меньше, чем какой-ли-

бо из моих учеников, настолько мало, что как будто его самого не было и совсем, он мне не нравился. И не нравилась, как кажется, именно эта самая покорность его и предупредительность: сам он никогда не смеялся и даже не улыбался, но если кто-нибудь из взрослых шутил, он предупредительно хохотал; сам он ничего не выражал на своем плоском, белом лице, но если кто-нибудь из взрослых желал вызвать в нем страх, удивление, или восторг, или радость, лицо тотчас же покорно принимало требуемое выражение. Словно это был не ребенок, а кто-то, в угоду взрослым добросовестно исполняющий обязанности ребенка, – он и шалил, но только по приглашению и как-то дико, будто вспоминая чужие, виденные во сне шалости. Ибо у других двух детей – мальчика семи лет и девочки пяти – он ничему научиться не мог: они были такие же, как Володя. Впрочем, этих я мало видел, они постоянно были со своей старой англичанкой, с которой я, по незнанию языка, не мог перекинуться даже словом.

Пробовал я брать Володю с собой на прогулку, но и гулял он отвратительно – деланно, как маленькая дорогая кукла, изображающая благонаправного мальчика. И только раз, ненадолго, увидел я в Володе нечто живое. Я вышел побродить по саду, и у одной из чистеньких белых скамеек, на ровной дорожке, не хранящей следов, я увидел Володю: он сидел прямо на сыром песке и обеими руками держался за ногу. По-видимому, он очень больно ушибся, так как лицо его выражало страдание, и он плакал – сидел один и плакал. Но как

только заметил меня, встал и, прихрамывая, двинулся ко мне навстречу; и было плоско лицо, и высохли слезы, и весь он снова выражал почтительность и готовность.

– Ты ушибся, Володя?

– Да, немножко.

– Отчего же ты не плачешь?

Он внимательно взглянул на меня, стараясь понять, чего я хочу, увидел полную мою серьезность и покорно ответил:

– Я уже плакал.

Очень может быть, что, как в старинном анекдоте, он даже добавил: «Благодарю вас!» – так был вежлив этот странный и жалкий человек.

Весь день я был свободен: гулял, если позволяла скверная ноябрьская погода, или читал в своей комнате: все свои книги, а их было множество, Норден любезно предоставил в мое распоряжение, и это вначале было одной из величайших радостей моей невеселой и однообразной жизни. Иногда я занимался в самой библиотеке Нордена, он и это позволил мне; и тут я чувствовал себя совсем как король: мягкие диваны, большие столы, заваленные журналами, множество книг в дорогих переплетах, тишина, как в Публичной библиотеке, – комната находилась во втором этаже, и никакой шум туда не проникал. Да и не было шума, если по каким-то одному ему известным причинам не заводил его сам Норден, заставляя собак лаять, детей танцевать и петь и всех, у которых был рот, – хохотать.

Обедали мы все вместе: дети, англичанка, Норден и я. Гостей у Нордена я не видал ни разу, но за обедом иногда появлялся какой-то толстый, молчаливый немец, раскрывавший рот только для еды или для смеха, когда к этому приглашал его Норден; кажется, это был управляющий его имением, не то домами в Петербурге. За столом всегда смеялись – трудно сказать почему, но смеялись. Сам хозяин рассказывал анекдоты и всех настойчиво приглашал смеяться. Для англичанки он переводил их на английский язык, но если и забывал перевести, она все равно хохотала: так требовали, по-видимому, обычаи дома. Первое время я был серьезен, и Нордена это беспокоило и даже огорчало, – тревожно и близко заглядывая мне в глаза, он удивленно спрашивал:

– Почему вы не смеетесь? Вам это не кажется смешным? Но ведь это же очень остроумно.

И объяснял, почему остроумно и почему я должен смеяться. Но если и тут я продолжал сохранять серьезность или только улыбался, а не громко хохотал, Норден начинал волноваться, настойчиво рассказывал все новые и новые тусклые анекдоты, выжимая из меня смех, как воду из масла; и казалось, что, не засмейся я и теперь, он станет плакать, целовать мои руки и умолять для спасения его жизни, прохихотать хотя бы только раз. И кончилось тем, что я начал хохотать, как все, – помню до сих пор тот конвульсивный, нелепый, идиотский смех, который раздирал мне рот, как удила пасть лошади. Помню то мучительное чувство страха

и какой-то дикой покорности, когда, оставшись один, совсем один в своей комнате или на берегу моря, я вдруг начинал испытывать странное давление на мышцы лица, безумное и наглое требование смеха, хотя мне было не только не смешно, но даже и не весело.

В течение нескольких дней, видя за столом только упомянутые лица, я решил, что в доме больше нет никого. Но однажды, как раз за обедом, наверху, в комнате, которая всегда была заперта, кто-то заиграл на рояле. Я удивился и, быть может, нарушая приличия, – я всегда путаю эти приличия, – спросил:

– Кто это играет?

Норден весело ответил:

– Ах, это? Разве вы не знаете? Это моя жена. Простите, если я забыл вас предупредить. Это моя жена. Она не совсем здорова и не выходит из своей комнаты. Но это удивительно талантливый человек! Вы послушайте, как она играет.

Но музыка была очень печальна, и Норден стал беспокоиться.

– Удивительно играет, – повторил он, отстукивая ножом по краю тарелки неуловимый такт. Но не выдержал и побежал наверх. А возвращаясь, еще с лестницы, весело кричал:

– Дети! Мисс Молль! Приготовьтесь, мама хочет, чтобы вы веселились.

Наверху действительно заиграли что-то веселое: какой-то модный танец, требующий конвульсивно-быстрых, судорож-

но-веселых движений. В громкой игре чувствовалась неуверенность, и Норден дружески пояснил:

– Новые ноты. Я только что привез из Петербурга. Очаровательный танец, его сейчас танцует вся Европа.

И весело закричал:

– Танцирен, мейне киндер, танцирен. Мисс Молль!..

И эти послушные куколки завертелись; и самая маленькая наивно открыто следила за движениями старших, скрадывая их движения, поднимая ручки и неловко перебирая короткими толстыми ножками. Кажется, она одна из всех была искренно весела и смеялась от всей своей маленькой души. Сама мисс Молль, наблюдая за детьми, вертелась тупо и туго, как на арене цирка лошадь, поднятая на задние ноги звонкими ударами бича. Норден похлопывал в ладоши, вскрикивал, приободряя танцующих, и, наконец, сделав вид, что не может долее выдерживать, начал кружиться сам. И, кружась, спрашивал меня:

– А что же вы, что же вы?

Потом остановился и начал упрашивать:

– Ну, пожалуйста! Ну, немного, вы доставите всем нам огромное удовольствие. Вы не умеете? Мисс Молль вас очень быстро научит.

Но танцевать я отказался наотрез. Когда раскрасневшихся детей увели, Норден закурил сигару и, весело отдуваясь, сказал:

– Фу, устал. Не правда ли, как у нас весело?

С тех пор я почти каждый день слышал музыку наверху, иногда печальную, но чаще веселую и неуверенную: после каждой своей поездки в Петербург Норден привозил новые ноты какого-нибудь очаровательного танца, который танцует вся Европа. В Петербург он ездил довольно часто, у него там были какие-то большие дела, но ненадолго – на день, на два, не больше. Мне очень хотелось узнать, что такое делается с женою Нордена теперь мне казалось, что тут именно лежит разгадка той великой тоски, что покрывала дом и людей, но все попытки мои остались безуспешными. С прислугой сближаться я не хотел, да она, по-видимому, ничего и не знала, а Володя был почтительно скрытен и даже, несомненно, лжив.

– Ну что, как мама сегодня? – спросил я его. – Вы были у нее сегодня?

– Да. Мы каждое утро бываем у мамы. Мама очень жалеет, что не может с вами познакомиться.

– Она очень больна?

– Нет, не очень. Она очень хорошо играет на рояле. У нее очень большой талант.

– А часто она плачет? – резко спросил я.

– Мама? – удивился Володя. – Нет, она никогда не плачет.

– Смеется? – сердито усмехнулся я.

– А разве смеяться нехорошо? – виновато спросил почтительнейший из учеников, ожидая, видимо, что я прочту ему лекцию о смехе, и готовый, сообразно с выводами лекции,

засмеяться или загрузить. Но лекции я ему не прочел, и больше мы о маме не говорили.

Как-то ночью, вернее, на рассвете – те трое уже скребли железом, сдирая следы, – в доме случился переполох, связанный, по-видимому, с болезнью невидимой музыкантши. Что-то упало, кто-то закричал, как от страшного испуга или боли, в доме забегали огни, и в приоткрытую дверь я слышал, как Норден успокоительно говорил:

– Это ничего. Ветром оторвало ставню, и она немного испугалась. Уже все прошло.

Правда, был очень сильный, почти штормовой ветер с моря: всю ночь он выл в трубах и влажно скользил по углам дома, а иногда, как певец на эстраде, останавливался на газоне и обвивал себя свистом и дикой песнью – но ставни все были целы, – я это видел поутру. Солгал Норден. Но в то же утро я впервые увидел и его жену: я поднял глаза к ее окнам, и за зеркальным, фальшиво поблескивающим стеклом, в сумраке комнаты, увидел такой же неверный, фальшивый образ: она стояла и смотрела на разгулявшееся, грохочущее море. И, к удивлению моему, насколько я успел рассмотреть, она была не старуха, а совсем молодая красивая женщина с большими темными провалами глаз. С дерзостью, – я теперь иногда становился дерзким с Норденом, – я спросил, сколько лет его жене? Оказалось, что ей всего двадцать девять лет и что Елена, которая утонула, была дочерью Нордена от первого брака.

III

Мой дневник, который я вел у Норден, кем-то украден: по-видимому, и его коснулась все та же система сдирания следов, наивной и упорной борьбы с поверхностью. Кто бы ни был укравший, он ничего не достиг своим мелочным и гаденьким поступком, и благородная рука его напрасно трудилась, взламывая замок: я достаточно твердо и ясно помню события вплоть до последнего момента, когда ужас на долгие месяцы лишил меня сознания. И этих следов, впечатленных в памяти моей, не могли бы уничтожить и те трое, что на рассвете волочат по дорожкам железные грабли.

Как могу я забыть это мелкое, безнадежно унылое море, лежавшее так плоско, как будто земля в этом месте перестала быть шаром? Думая о море, я всегда думал и о корабле, — но здесь не показывались корабли, их путь проходил где-то дальше, за вечно смутной и туманной чертой горизонта, — и серой бесцветной пустыней лежала низкая вода, и мелко рябили волны, толкаясь друг о друга, бессильные достичь берега и вечного покоя. Раз или два я видел вдали одинокую рыбацкую лодку, темную и так мало подвижную, что ее можно было принять за выдавшийся из воды камень, и это было все, что за многие часы неотступного внимания открыли мои глаза. После того шторма, что так напугал невидимую и странную г-жу Норден, наступила неделя вялого за-

тишья, сырой и теплой погоды, прозрачных и душных туманов, не ощущаемых вблизи, но всю даль кривших безразличной мглой и полдень превращавших в серые сумерки; и вместе с туманами далеко отошла от берега мелкая вода, и открылись островки и целые материка песчаных отмелей. Их ровная, ни единым знаком не тронутая, ни единым предметом не отмеченная гладь нарушала все обычные и истинные представления о размерах и расстояниях, и, когда я двинулся в глубину этой удивительной страны, мои шаги казались мне огромными, прыжки через узенькие проливчики гигантскими, и сам я представлялся великаном, загадочным существом, впервые обходящим только что сотворенную безжизненную и пустынную землю.

Так, прыгая с материка на материк, добрался я до самой серой воды, и маленькие плоские наплывы ее показались мне в этот раз огромными первозданными волнами, и тихий плеск ее – грохотом и ревом прибоя; на чистой поверхности песка я начертил чистое имя Елена, и маленькие буквы имели вид гигантских иероглифов, зывали громко к пустыне неба, моря и земли. Почему назад я не пошел по своим следам? Уже наступала ночь, и в темноте я заблудился, и всюду меня встречала широкая вода, казавшаяся глубокой; испугавшись, я зашагал прямо по лужам и был счастлив, когда затемнела каменная пирамида – по случайности я вышел как раз к тому месту берега, куда был прибит волнами труп Елены.

– Зачем вы здесь поселились? – в тот же вечер дерзко я спросил у Нордена. – Здесь ужасно скучное море!

Норден, видимо, огорчился моим замечанием и тревожно повернул голову в сторону темного окна.

– Разве оно скучное? Нет, это неправда. Когда вы узнаете его ближе, оно очарует вас.

Оно уже и теперь очаровывало меня, но это было очарование тоски и страха, опасный и смертельный яд, от которого надо бежать... но разве поймет это Норден, – он уже рассказывает новый анекдот, и просительно заглядывает в глаза, и клещами тащит из меня нелепый, надорванный смех. И оба мы сидим глаз на глаз и смеемся – Боже мой, как это было глупо и унижительно!

Последовавшие за этим разговором дни ничем не отмечены в памяти, точно их не было совсем, и я все время спал в тоскливом без сновидений сне, а пятого декабря замерзло море и выпал первый глубокий снег. И с первым снегом, в тот же день, пятого декабря, началось то необыкновенное, что еще более сгустило для меня печальную загадку унылого места и людей и жизни и что до сих пор не понято мною и порой самому мне кажется дурным вымыслом, неудачной сказкой. Здесь приходится, пожалуй, пожалеть о дневнике с его ежедневными и точными записями, так как только в строгой последовательности их можно если не объяснить, то понять чувство нестерпимого, под конец болезненного страха, постепенно овладевавшее мной.

Постараюсь, по возможности, быть точным и не пропустить ни одной мелочи, имеющей значение или хотя бы самое отдаленное отношение к происшедшему. И особенно важным кажется мне отметить первое появление того странного, необыкновенного существа, которое как бы воплотило в себя все мрачные силы, всю тоску и темную печаль, что тяготели над несчастным и проклятым домом Норден и меня, дотоле постороннего человека, вовлекли в свой страшный водоворот.

Повторяю, в этот день, пятого декабря, выпал первый глубокий снег. Он падал всю предыдущую ночь и все утро; и когда после занятий с Володей я вышел наружу – было тихо, мертвенно-бело и прекрасно. Оставляя глубокие следы, я поспешно выбрался на берег и ахнул: моря не было. Еще вчера только вот отсюда начиналась его ледяная, исковерканная шквалами, тускло поблескивающая поверхность, а сегодня все было ровно, не было никаких границ, малейших задержек взору. Если б мир был нарисован на бумаге, то можно было бы подумать, что здесь позади меня кончается рисунок, а дальше идет еще не тронутая карандашом белая бумага; и с тою потребностью чертить, оставлять следы, рисунок, которая является у людей перед всякой ровной нетронутой поверхностью, я снял с правой руки перчатку и пальцем крупно вывел на холодном снегу: Елена.

Взглянул на пирамиду: ее уже не было. Был невысокий снежный холм с мягкими округлостями камней, что-то со-

всем тихое и покорное, словно умершее вторично и уже навсегда. Сюда головой, туда ногами... нет, трудно представить, когда нет ни земли, ни берега, ни волн, опрокидывающих лодку, а только вот это, ровное, белое, бесстрастное. И как будто освобождение я почувствовал: стало необычно легко и просто, и почему-то деловито подумалось, что надо съездить в университет, показаться педелю. А сам Норден представился просто чудачком, правда, неприятным, почему-то несчастным, но безобидным и, во всяком случае, чужим: заработаю денег, а там уеду, пусть живут как хотят, рассказывают анекдоты и танцуют.

«А ну-ка: как теперь будешь ты со следами!» – весело думал я, пробираясь обратно, и умышленно не ставил ногу в старый след, а прокладывал новый, широкий и растрепанный. И это было так приятно: оставлять след и помнить завтра, что сегодня я здесь шагал; и еще, быть может, много дней, до нового чистого снега, видеть себя уходящим в прошлое. И сад вдруг сделался прост и обыденен: в холодной ласке спокойного снега исчезла отчужденность и одиночество, которым томились деревья, наступил сон, тихие грезы. Только одно портило и нарушало мягкий покой: большие деревянные футляры, которыми Норден одел от мороза дорогие южные деревья. Я никогда прежде не видал, чтобы так делалось в саду, и мне были неприятны эти высокие, сразу непонятные, словно пустые, деревянные ящики; некоторые из них смутно напоминали большие гробы, ставшие на ноги

перед началом какой-то дикой процессии. «Точно прерванное воскресение мертвых», – подумал я, с недоброжелательством вспоминая Нордена, который эти свои ящики считал очень остроумной, практической и веселой выдумкой.

Самого Нордена уже два дня не было дома, он уехал по своим делам в Петербург, и в огромном, хорошо натопленном доме, всех комнат которого я еще не знал, было пусто и тихо: по своим комнатам сидели с англичанкой дети и не шалили, затихла на кухне прислуга, и где-то в верхних комнатах за их зеркальными стеклами молчала в одиночестве и болезни молодая и красивая женщина, темная жертва каких-то неведомых сил. Я с час просидел в библиотеке, но читать не хотелось, – было на душе слишком как-то весело и беспокойно, и звал на приключения пустой, затихший и неисследованный дом; и, прислушавшись, не идет ли кто, я перешагнул порог тех комнат, в одной из которых находилась несчастная г-жа Норден. Двери были открыты, торопливо и осторожно я прошел одну и другую комнату, потом коротенький коридор и оказался на площадке с лестницею вниз – про эту лестницу я и не знал; и сразу понятно стало, что именно здесь, за этой высокой, молчаливой дверью находится больная. С отчаянной решимостью я попытался открыть дверь, но она не поддавалась, – так я и остался на пустой площадке, не зная, что же мне делать дальше. Постучать? Но какое же я имею право!

Долго стоял я, сперва очарованный, потом смущенный и

подавленный ненарушимой тишиной, которая с каждой минутой становилась все глубже, проникала во все предметы, оковывала ступени пустой лестницы, глядела белыми глазами в широкое окно. Наконец внизу послышались чьи-то шаги, и я поспешно вернулся в библиотеку; и снова я почувствовал ту же беспокойную радость, безотчетное волнение, что и давеча. Но читать и в этот раз не мог и скоро с книгою в руках заснул на широком и мягком диване, последним воспоминанием унося с собою в сон картину снежного и мертвого мира, еле тронутого карандашом, чувство покорной затерянности в безбрежности его снегов и одинокого тепла от моего маленького, защищенного, крытого уголка.

Вечером, по обыкновению, я занимался в своей комнате, писал дневник и письма и в обычный час лег в постель, но после дневного крепкого и продолжительного сна не мог теперь уснуть и час или два лежал с открытыми глазами, с интересом приглядываясь и прислушиваясь к незнакомому дому и мало знакомой, а теперь в ночной полутьме и совсем чуждой комнате. Стояла та же тишина, что и днем; за окном, слабо защищенным тонкой белой занавеской, смутно белела ночь, – по-видимому, была луна за облаками и лила свой призрачный, рассеянный свет. Кажется, я начал уже засыпать, как вдруг почувствовал, что за окном кто-то стоит, что-то вроде тени обрисовалось на белой занавеске.

Должен здесь пояснить, что комната моя находилась в нижнем этаже, в том месте, где под углом сходились две сте-

ны здания, и окна были довольно низко над землей: ничего не стоило, поднявшись на носки или просто будучи высокого роста, заглянуть внутрь. «По-видимому, кто-нибудь приехал и не знает, как войти в дом», – подумал я и с чувством легкой тревоги подошел к окну и отдернул занавеску... да, прямо передо мною, по грудь возвышаясь над подоконником, стоял кто-то и неподвижно-темным лицом смотрел на меня. Немного растерявшись, я сделал рукой что-то вроде приветственного знака, но он не ответил и остался совершенно неподвижен; я постучал пальцами по стеклу – та же неподвижность темной фигуры и темного, погруженного в тень лица.

– Что вам надо? – негромко спросил я, забывая, что сквозь двойные зимние рамы голос мой не может быть слышен.

И действительно, ответа не последовало, и так же неподвижно и прямо смотрело на меня темное лицо. «Ну погоди же, – подумал я сердито. – Я тебя поймаю!» Но не успел я повернуться от окна, как он уже начал отходить – медленно, не торопясь, на мгновение обрисовавшись темным профилем. Я успел еще заметить, что плечи его прямо и необыкновенно широки и что на голове у него невысокий котелок, но вообще в нем не было ничего необыкновенного и странного – разве только загадочность появления среди ночи под чужим окном. На всякий случай я решил выйти наружу и посмотреть, но, пока я одевался, решение мое ослабело, и я остался, думая с притворным равнодушием: «Завтра узнаю,

в чем дело».

Утром я расспросил прислугу и домашних: оказалось, никто в течение ночи не приезжал, никого не видали, кто был бы похож на моего незнакомца. При расспросах моих дворник держался очень просто и спокойно, но молодой бритый лакей Иван выразил, как мне показалось, смущение и некоторую тревогу; еще раз заставив повторить рассказ о появлении незнакомца и под конец сразу успокоившись, решительно заявил, что все это мне только показалось. Как я узнал впоследствии, в доме многие боялись призрака, но все почему-то были убеждены, что таким призраком является утонувшая когда-то Елена. Впрочем, страх этот, неглубокий и несерьезный, носил все признаки тех поверий, что рождаются в несчастных домах, возбуждающих мнительность и любопытство.

Ничего не добившись, я пошел взглянуть на мое окно, в надежде, что оно может дать мне какую-то разгадку случившегося, – но то, что я увидел и заметил, меня крайне смутило и как-то неприятно взволновало. Под окном не было никаких следов, – это первое, что бросилось мне в глаза; далее, я, видимо, ошибался в высоте окна, считая ее не превышающей обычного человеческого роста: в действительности я едва доставал подоконник кончиками пальцев, хотя рост имею выше среднего. Это обстоятельство имело для меня особую важность, так как вчерашний незнакомец возвышался над подоконником по грудь, другими словами: либо он

был человеком чрезмерно, даже неестественно высокого роста, либо висел в воздухе, как... галлюцинация. Да, галлюцинация, – вот что я подумал в конце моих наблюдений и вот что так неприятно меня взволновало.

И объяснение это было довольно правдоподобное: то напряженное внимание и беспокойство, с которым я приглядывался к незнакомому дому, ожидая от него таинственных и мрачных чудес, пошатнули-таки мою нервную систему и подарили меня чудом, единственным, которое осталось на долю нашего скептического и образованного века. Да, несомненно, это была галлюцинация... если только это не был случайный прохожий, или какой-нибудь безумец, или... Но как же тогда следы? Но если это действительно галлюцинация, то почему же я чувствую себя таким здоровым, крепким, несколько не нервным, все предметы вижу с полной отчетливостью и соображаю ясно и точно? И почему моя тревога и нервность выродились именно в эту фигуру, правда, довольно мрачную, но простую и обыденную и никакого отношения к моим догадкам не имеющую? Как и многие в доме, я скорее ожидал бы увидеть Елену, но этот молчаливый господин в котелке, – какое мне дело до его котелка!

Так я и не решил вопроса, но и без всякого решения успокоился легко и быстро: чувство здоровья давало мне уверенность, что ничего серьезного быть не может, с какой стороны ни подходить к явлению. По обычной колее прошел день, а к вечеру приехал из города Норден и привез новые ноты ка-

кого-то развеселого и модного танца. И после обеда играла наверху невидимая мама, не совсем уверенно разбираясь в незнакомых нотах, а дети танцевали, и мисс Молль кружилась, как цирковая лошадь на арене, а сам Норден раза два прошелся по комнате, подражая приемам балетного танцора и комически утрируя их. Все очень смеялись, и когда слезящимися от смеха глазами я взглянул в окно, — мне показалось, что там кто-то стоит. Сразу опомнившись, я внимательно взгляделся: было темно и пусто за окном, да и никого там не могло быть, и все это были пустяки. Но уже забеспокоился Норден:

— Отчего вы не смеетесь? Это так смешно. Или вам не нравится наш новый танец? Этого не может быть, чтобы вам не нравилось, — я буду жаловаться мисс Молль, а она вас накажет, как дурного мальчика. А! Вы уже испугались.

Показывая на меня, он по-английски сказал что-то мисс Молль, и заставил ее смеяться и покачивать головой, и, наконец, продолжая шутку, принудил ее подойти ко мне и шутливо, в виде наказания, ударить ее рукой по моей руке. Но и этого показалось мало: резвясь, как мальчик, Норден пригласил гувернантку и детей стать на колени и шутливо умолять меня, чтобы я танцевал с ними. Я просто не знал, что делать и что мне говорить: было и стыдно и противно, а то, что это только шутка, совершенно связывало меня и делало немым. На мгновение я увидел в дверях изумленное лицо лакея Ивана, а через минуту и он, во фраке, как был, и в бе-

лых перчатках, также стоял на коленях и просил меня танцевать. А музыка все гремела, скатываясь к нам по тем ступенькам, что такими безмолвными видел я вчера, и становилось дико, болезненно смешно, как от смертельной щекотки. И кончилось тем, что я затанцевал, а танцуя и кружась перед темными, бесчисленными, как казалось, окнами, странным кругом опоясывавшими меня, думал с недоумением: где я? что со мною?

Долго еще не мог успокоиться Норден и, когда дети уже ушли спать, все еще держал меня в столовой и по мелочам перебирал все воспоминания вечера: как кружилась мисс Молль, и как вертелся Володя, как это было смешно, когда они все стали на колени упрашивать меня. И, доверчиво касаясь моего колена своею выхоленной барской рукою, близко склонив ко мне свое лицо, которого я до сих пор не умел ни рассмотреть, ни запомнить, он говорил задушевно:

– Нет, вы подумайте, как это хорошо, как это приятно, как это, наконец, культурно! Да, культурно. Мы живем в глуши, в деревне, вокруг нас сейчас на десять километров нет ни единого огонька, а в ту сторону, – он протянул руку по направлению к морю, – может быть, и на сотни километров, и что же мы делаем, однако? Мы смеемся! И еще что мы делаем? Мы танцуем! Мои друзья в Петербурге спрашивают меня, как я могу жить в таком уединении и не скучать? Да, но если б они видели наш сегодняшний день!

Он расхохотался и, трепля меня рукою по колену, хохотал

очень долго, – что-то очень долго, невыносимо долго. И пошел радоваться дальше:

– Да! Если б они видели – они все бы приехали сюда, чтобы танцевать с нами! Но позвольте: почему же нам этого не устроить? Да, да, вот мысль! Вот блестящая мысль!

Он в волнении заходил по комнате, утрированно изображая человека, осененного гениальной мыслью: прижимал пальцы ко лбу, разводил руками, поднимал кверху глаза.

– А сегодня ночью...

Но он перебил меня:

– Да, да, конечно: мы позовем пятьдесят, сто человек, и мы все будем танцевать, и это будет так весело, так культурно!..

– А сегодня ночью...

Норден быстро обернулся и продолжительно, не улыбаясь, посмотрел на меня. И пока он молчал, я чувствовал, что не в силах произнести слово, – точно замок железный повис у меня на губах.

– Вы хотели сказать?.. – вежливо наклонился он в мою сторону.

Но я уже ничего не хотел сказать и ничего не сказал.

Заснул я в эту ночь очень быстро, тяжело и мягко, точно провалился в яму, набитую доверху черным пухом, и спал приблизительно до двух или трех часов, когда кто-то разбудил меня громко прозвучавшими словами: пора вставать! Голос был так громок, что я даже привстал на постели, – но

было в комнатке пусто и тихо, и дверь заперта, и я сразу понял, что это один из тех обманов слуха, что бывают у спящих. И уже повернувшись на правый бок, чтобы спать дальше, я вдруг вспомнил смутную тень за окном... Да, за окном по-вчерашнему стоял кто-то.

Это был он. Я погрозил ему пальцем, но, как и вчера, он ничего не ответил и продолжал стоять неподвижно. Теперь я ясно увидел, что он действительно обладает чрезвычайно и даже неестественно высоким ростом и стоит на земле; и вместо того чтобы испугать, это как-то странно успокоило меня. И опять я подумал, что надо выйти во двор и поймать его, и опять при этой мысли, точно услышав ее, он повернулся от окна и не торопясь пошел вдоль дома. Одеваться? – Нет, не стоит, все равно не успею.

«Если только это... если только это, то, пожалуй, это уж и не так страшно!» – подумал я, укрываясь одеялом, почти веселый от сознания, что на сегодня все кончилось.

Но руки мои и ноги были так холодны, что прикосновение одной ноги к другой причиняло почти боль: казалось, что это не мои, а чьи-то другие, ледяные ноги лежат под одеялом. И понемногу я весь начал дрожать мелкой дрожью, как от лихорадочного озноба.

IV

В следующую затем ночь, 7 декабря, я лег спать одетый, с твердой решимостью настичь незнакомца, схватить его за шиворот и так или иначе добиться разрешения неприятной и странной загадки. Чувства страха я не испытывал, но вполне естественное раздражение и даже гнев не дали мне уснуть; однако ожидание мое было бесплодно, и ни единая тень, ни единый звук не нарушили ночного молчания и пустоты за окном. Так же спокойно прошли следующие две ночи: никто не являлся, и с необыкновенной легкостью, удивительной при данных обстоятельствах, я почти совсем забыл о своем странном посетителе; редкие попытки вспомнить создавали почти болезненное чувство – так упорно отказывалась память вызывать неприятные для нее и тяжелые образы. И сон у меня после той ночи снова стал крепкий и спокойный, как всегда.

В субботу (Нордена снова не было: он уехал в город) я весь вечер сидел в его прекрасной библиотеке, рассматривая заграничные, весьма ценные художественные альбомы и с некоторой грустью размышлял о том, что мое эстетическое развитие не стоит на должной высоте. Задумавшись о способах и средствах, как устранить этот недостаток, я забыл о времени, и когда взглянул на библиотечные, без боя, часы, было уже начало двенадцатого, а лег в постель редко

после одиннадцати. Я заторопился и, собирая свои листочки с заметками, равнодушно и случайно заглянул в темное окно: там, возвышаясь по грудь над подоконником, стоял он и смотрел в комнату. От неожиданности я выронил заметки и, нагнувшись, стал собирать их с ковра – не без надежды, что, когда я снова взгляну в окно, его там уже не будет... Однако надежда моя не оправдалась.

Теперь при свете лампы, падавшем в окно, я смог довольно хорошо рассмотреть его лицо: спокойное и даже равнодушное, само по себе оно не было страшно. На вид ему было лет тридцать пять, черты лица крупные и правильные, ни бороды, ни усов, – лицо даже лоснилось, как будто от тщательного и недавнего бритья; только одного я не мог рассмотреть – его глаз. Они были освещены, как и все, и я их видел, но рассмотреть и понять мешал его взгляд, обращенный прямо на меня. Что было в этом взгляде, я не умею сказать: он был прям, неподвижен и давал ощущение почти физического прикосновения; и впечатление от него было ужасно. Сколько времени он стоял здесь и так смотрел на меня? Эта мысль почему-то подействовала на мое самолюбие и вернула мне силы: он показался мне просто наглым негодяем, и, сделав шаг к окну, я что-то угрожающе крикнул. И как тогда, у окна моей комнаты, он медленно повернулся и отошел, сразу пропав в темноте ночи.

Я засмеялся и, возбужденно ходя по комнате, несколько раз громко повторил:

– Какой негодяй! Нет, только подумать, какой негодяй!

Продолжая возмущаться все более и более, я уже решил, несмотря на поздний час, разбудить лакея Ивана и работников и идти обыскивать сад, когда одна простая мысль уничтожила и ярость мою, и эти нелепые планы: я вдруг вспомнил, что библиотека, а следовательно, и окна ее находятся во втором этаже дома!

Этот вечер – в субботу, в библиотеке – стал началом дикого, лишённого цели и смысла, но упорного и систематического преследования. Я не могу точно восстановить в памяти ни дней, ни чисел, но знаю, что была известная последовательность и даже осторожность в том, как он медленно и постепенно приближался ко мне, завладевал все новыми окнами и часами, как бы окружал меня своим странным и упорным вездесущием. Недели полторы он приходил только ночью, потом вечером, потом в сумерки, – вернее сказать, начиная с сумерек, так как одним посещением в сутки он уже не ограничивался.

Да и можно ли было называть посещением эти внезапные молчаливые появления то за одним окном, то за другим, к которому я переходил в стремлении избавиться от настойчивого посетителя? Помню, что однажды я быстро перешел комнату с одной ее стороны на противоположную, – и меня удивило, что он уже был там, успел обогнуть большое расстояние вокруг дома и уже снова поджидал меня.

По-видимому, никто из домашних ничего не подозревал,

и жизнь текла по-обычному, холодно и печально, в глухом молчании и покое, лишь изредка нарушаемом судорогами нелепого норденовского веселья. Почему в этом доме никогда громко не плакали и не капризничали дети? Только раз, возвращаясь в свою комнату после занятий с Володей, я услышал где-то близко плачущий голосок самой маленькой: это было так необычно, так не в порядке дома, что остановился и наконец открыл тихо дверь, за которой находилась девочка. К удивлению, ни мисс Молль, ни старшего ее воспитанника не было, комната была пуста, и в углу, лицом к стене, стояла самая маленькая и что-то быстро плачущим голоском шептала. В одной ручонке ее, вытянувшись и плоско подогнув тряпичные ноги, висела кукла с распущенными волосами и одним выбитым глазом, а другую ручонку самая маленькая часто подносила к глазам и как-то деловито, продолжая шептать, вытирала слезы. Услышав мой голос, самая маленькая перестала шептать, но не обернулась и только осторожным движением подтянула к себе куклу и скрыла ее за своим телом.

– Тебя наказала мисс Молль? – спросил я девочку, наклонившись, но не смея повернуть ее к себе лицом: так почему-то неприкосновенна и страшна показалась мне печаль самой маленькой. Три или четыре раза я должен был повторить вопрос, пока не услышал тихого ответа:

– Нет. Я сама.

– Хочешь пойти ко мне на руки? Я поношу тебя по ком-

нате.

Ответа не было, но кукла снова медленно сползла на пол, и вся фигура девочки, ее узенькие и круглые плечики, завиточки русых волос на затылке выразили колебание; и я уже протянул руки, когда где-то через комнату послышался громкий смех самого Нордена. Я оставил девочку и быстро вышел, решив как можно скорее объясниться с Норденом и уехать.

V

Конечно, мне следовало уехать, и все доводы рассудка говорили за то, что отъезд должен быть поспешным, даже немедленным, быть может, в этот же самый день, в ту же минуту, как только явилась спасительная мысль. Но что-то сильнейшее, чем рассудок с его скучным и вялым голосом, приковывало меня к месту, направляло волю и все глубже вводило в круг таинственных и мрачных переживаний: у печали и страха есть свое очарование, и власть темных сил велика над душой одинокою, не знавшей радости. Не знаю, думал ли я так или отыскивал какие-нибудь лживые предлоги, но только почти без колебаний отбросил мысль об отъезде и остался для новых страданий.

Возможно, что отчасти меня удержали наступившие прекрасные погожие дни, полные солнца и тишины. Ночные морозные туманы опушали инеем деревья, проволоку мимо проходившего телеграфа, каждую тонкую веточку и прутик превращали в белый мохнатый отросток какого-то невиданного красивого растения. Поредевший за осень сад снова стал непроницаем, словно покрылся новой белой листвою; и тени на ветвях были так слабы, что дальние и ближние деревья совсем сливались, все ветви путались, и казалось, что никогда ослепленные глаза не разберутся в этой серебристой, неподвижной, застывшей путанице.

Но вот посмотришь еще, – и вдруг все отделилось, каждая веточка плавает в море голубого воздуха, и среди белых, толстых, пушистых ветвей одного дерева воздуха так много, как во всем мире. Это было прекрасно и необыкновенно, а когда еще солнечные желтовато-розовые лучи вмешивались в неподвижную игру, тихо гасли, и вспыхивали, и терялись где-то в отдаленнейших переходах инея, глазам и душе становилось даже больно от красоты.

Во все эти дни он не появлялся, сам Норден с его смехом и анекдотами находился в городе, а без него некому было шуметь, – и чувство тишины было так сильно, как будто во всем мире прекратились внезапно всякое волнение, крик и голоса. И в эти тихие и счастливые часы я совсем забывал об ужасах часов ночных, когда земля также переставала быть той, какой я всегда знал ее, когда также царила тишина. И каждое утро я надевал лыжи и шел на берег застывшего моря, к могильному холму, и смотрел на большие и глубокие буквы, выведенные в снегу и обозначающие чистое имя: Елена.

А возвращаясь к дому, я вежливо, но неотступно смотрел в окна, за которыми жила и томила невидимая госпожа Норден, в надежде хоть мельком увидеть явившееся однажды молодое и бледное лицо. Но никто не показывался у окна, и можно было подумать, что там нет живых и что совсем нет на свете никакой госпожи Норден, странной женщины с бледным лицом, о которой никто не говорит, – как

нет на свете Елены. О ней не говорят, но ежедневно к ней водят детей, и редко – правда, очень редко – я слышу из своей комнаты, как в людской раздается нерешительный и слабый звонок, повторяемый трижды и не похожий ни на чьи другие звонки: это зовет она. И мне странно подумать, что дверь к ней открывается, как всякая другая дверь, и навстречу горничной поднимается кто-то, кто есть она, что-то говорит тихим голосом, о чем-то просит, показывает ей свое бледное лицо. А горничная равнодушна, называет ее «барыня», и ничего не может рассказать о ней – или не хочет?

Числа пятнадцатого декабря вернулся из города Норден, а вскоре затем круто изменилась погода, потемнели дни, повалил густой и словно серый снег и покрыл холодной и плотной пеленой начертанное имя Елена. И вместе с дурной погодой вернулся он, и в новую фазу вступили мои отношения с невыносимым посетителем.

Девятнадцатого декабря, в воскресенье, после завтрака, когда все разошлись из столовой, я стоял с Володей у окна и смотрел в сад на падающий снег, – когда появился он. Это было первый раз, когда он пришел днем и при посторонних. Стоял он в каких-нибудь двух шагах от стекла, и на черном котелке его и на плечах белел снег; я явно видел две-три снежные звездочки, которые тихо прилегли на темное платье и спокойно остались там. Но главное внимание мое обратил на себя Володя: его глаза сузились, и взор приобрел ту определенность, какую дает рассматривание близкого пред-

мета; несомненно, Володя видел то же, что и я. Более того, когда незнакомец через несколько секунд повернулся и стал уходить, Володя даже шагнул вперед, чтобы дольше видеть. Очень взволнованный, я повернул к себе мальчика и строго спросил:

– Вы видели его?

И он спокойно, как взрослый, солгал:

– Я не понимаю, про кого вы спрашиваете, и я не вижу ничего, кроме падающего снега. А разве вы видите что-нибудь еще?

– Да.

– Что же вы видите еще?

Я знал, что он будет лгать до конца, и бросил попытку узнать что-нибудь через него. А на другой день точь-в-точь повторился такой же случай, только стоял я у окна не с Володей, а с его не менее лживым родителем, и так же, постояв несколько секунд на полном виду, отошел он и скрылся за углом. И так же следил за ним глазами г. Норден.

– Каково? – сказал я и с некоторым усилием засмеялся.

– Я очень рад, что вы наконец развеселились, но в чем дело? – с видом искреннего удивления спросил меня Норден и осторожно коснулся рукою моего плеча.

Но ведь он же видел, видел, я это знаю!

– Вы видели?

– Нет.

– Нет, это неправда, самая форма вашего ответа показы-

вает, что вы видели. Что это значит?

Он смотрел на меня пристально и без улыбки. Охваченный чувством ужасающей беспомощности, почти отчаяния, я глупо крикнул:

– Я буду жаловаться!

– Жаловаться?

И, конечно, он немедленно воспользовался моей ребяческой выходкой. Выражение лица его внезапно изменилось, стало внимательным и до приторности любезным; чуть не обнимая меня, – казалось, еще минута, и он осыплет меня поцелуями, – Норден забросал меня вопросами о причинах моего недовольства.

– Вас кто-нибудь оскорбил, быть может, прислуга? Но я не могу допустить этого в моем доме! Назовите имя виновного, и я немедленно... о, в этих случаях быть строгим даже культурно! Нет? Но тогда вы, вероятно, скучаете, – да, да, не отпирайтесь, я догадываюсь. Когда-то я также был молод... Ах, молодость, молодость!

Он еще долго болтал, и трудно было понять, насмехается ли он явно надо мною, или же и сам хочет избавиться от беспокойства, – настойчивые просьбы быть веселым и сейчас, немедленно, начать смеяться временами переходили почти в угрозу. Кончилось все планом колоссально интересной, колоссально веселой елки, которую мы с завтрашнего же утра начнем готовить; сейчас же он закажет дерево, – особенное, колоссальное дерево, сейчас же составит список по-

купок, сейчас же кто-то поедет в город...

Так нелепо кончился наш разговор. И последующие затем дни, наряду с мраком, сгущавшимся над моей душой, запестрели проблесками какой-то искусственно веселой суеты, крикливой и шумной работы над ненужным, шуток, которые никого не веселят, громкого смеха, похожего на треск раздираемых в отчаянии одежд. Принесли дерево, действительно очень большую ель, наполнившую комнату пряным, смолистым, немного похоронным запахом хвои, чадили восковые свечи, которые то зажигались для опыта, то тушились; и я с мисс Молль и детьми что-то навешивал, лазал по лестнице, которую держал сам Норден, и раскидывал по колючим, неподатливым ветвям серебристые нити. Потом танцевали, исполняли какие-то замысловатые обряды и хоровые песни, и снова играла нам невидимая музыкантша.

А ночью происходило следующее. Разговор с Норденом, вернее, моя собственная глупость, так возмутили меня, что я тут же решил, с новым приливом сил, не оставлять дела так, сделать что-то твердое и решительное. И снова, как в ту ночь, я лег спать в постель, не раздеваясь, и нетерпеливо ждал минуты, когда за пологом окна я почувствую его присутствие: в этот раз, сгорая от невыносимого возбуждения, я сам готов был позвать своего странного и беспощадного преследователя. Но он медлил, и было уже около часа ночи, когда обычное, никогда не обманывавшее меня чувство показало мне, что он тут. Я быстро подошел к окну и отдер-

нул занавеску: да, здесь. С ненавистью и гневом я окинул взглядом темный силуэт с широкими плечами и головой, казавшейся во тьме почему-то маленькой, погрозил пальцем и повернулся, чтобы идти, – и он также повернулся от окна. Шагая быстро, но осторожно и без шума, я прошел ощупью две темные комнаты, пока сильный запах меха не показал мне, что я уже в прихожей; тут я зажег спичку, тотчас же погасшую, и открыл дверь в холодный стеклянный фонарь, отделявший прихожую от наружной двери. Железный засов был холоден и обжигал руки; в темноте, не имея возможности зажечь спичку, я довольно долго возился с ним, наконец распахнул дверь и решительно шагнул в темноту – и почти столкнулся с ним. Он стоял на занесенной снегом небольшой каменной площадке всего в одном шаге от меня, был неподвижен и молчал. Темное лицо его было обращено ко мне. Ростом он был немного выше меня. Не знаю, сколько времени стояли мы так друг против друга; он не делал попыток войти, не двигался, но с каждым мгновением мне становилось все страшнее, – и, тихонько шагнув назад, я стал медленно, с какой-то бессмысленной, но казавшейся мне необходимой вежливостью закрывать дверь. Когда я, закрыв дверь, поспешно задвигал засов, мне почудилось, что он слабо тянет ручку двери к себе, но, несомненно, это было только воображение.

В темной прихожей было тепло и уютно, и опять сильно пахло мехом от зимних одежд. Дрожа, я отправился в свою

КОМНАТУ.

VI

Тогда меня еще не покинул разум; и наутро, после долгой и бессмысленной ночи, я отдался размышлениям о происходящих событиях. Помню хорошо, что в то утро я был очень серьезен, очень спокоен, и голова у меня была свежа, как у всякого другого, совершенно здорового и ничем не напуганного человека. Чтобы ничто не мешало размышлениям, я, под предлогом легкого нездоровья, отказался участвовать в дальнейшем, еще не законченном убранстве елки и пошел пройтись по широкой, накатанной дороге, ведущей к станции. День был морозный и хмурый.

Из книг и рассказов старых людей я знал, как и всякий знает, что людей одиноких, несчастных, потрясенных внезапным горем или совершивших преступление, посещают фантастические видения. Но я не совершал преступления, и не было у меня такого горя, и, что самое главное, непонятное, бессмысленное и нелепое: и никакой вообще связи с моей жизнью не имел и не мог иметь этот уличный и в то же время необыкновенный господин в котелке, летающий по воздуху, сторожащий меня у окон, полюбивший меня такой привязчивой и загадочной любовью. Что ему надо от меня? Я только репетитор в этом доме, и я ничего не знаю о той печальной ошибке, горькой неправде, быть может, преступлении, тень от которого покрывала чуждых мне людей и чуж-

дое место. И я совершенно здоров, ежедневно прибавляю в весе, и все это так бессмысленно, что я даже не могу поехать к психиатру. Что ему надо от меня? Я только репетитор в доме.

Я несколько раз вслух – на дороге не было никого – повторил, как заклинание, эту фразу: я только репетитор в доме, и она была настолько убедительна и ясна, что на мгновение даже явилось желание поговорить с призраком и объяснить ему, что он ошибается, что я – только репетитор в доме. Но разве с призраками говорят, разве им доказывают что-нибудь? Бессмыслица, бессмыслица!

И снова я шагал по дороге и напряженно размышлял, пока не заметил, что мысли мои повторяются, двигаясь в одном и том же порядке, что я мыслю по кругу, соответствующему бегу цирковой лошади, и что круг замыкается в одном и том же месте, одним и тем же словом: бессмыслица. Надо сойти с круга, надо думать как-то иначе, но как? Я не знаю. А круг повторялся снова, я уже не шел, а бежал по замкнутой линии, возвращаясь, устремляясь вперед, теряя надежду и силы; и тогда мне стало нестерпимо страшно. Не от призрака, нет, он как-то потерял значительность, а от того, что делается и что может делаться в бедной человеческой голове. Помню, что я чуть не закричал и, повернувшись, быстро зашагал домой: даже это казалось домом рядом с призраком пустоты, явившимся сознанию.

И дома мне показалось совсем весело, тепло и приятно;

и что было совсем радостно и заставило меня смеяться: без меня приехали приглашенные на Рождество два студента, племянники Нордена, очень милые и очень вежливые молодые люди, очень похожие друг на друга. Вместе с самим Норденом они возились около елки, кончая ее убранство, и тут же были дети, а вверху звучала музыка, в этот раз также показавшаяся мне непритворно-веселой – играла невидимая г-жа Норден новые танцы, привезенные студентами. Помню, что со студентами я ходил гулять, потом за обедом мы пили вино и чему-то очень много смеялись, а вечером уже совсем по-настоящему танцевали, так как приехала какая-то толстая дама с двумя дочерьми, молоденькими девушками, очень веселыми и любезными. Забегая несколько вперед, упомяну, что в последующие дни приехало еще много гостей, приглашенных на Рождество, очень милых и приветливых людей, и мне даже странным показалось, как мог наш дом, хотя и большой, вместить такое количество людей, исчезавших к ночи по своим комнатам. Кто они были, я, собственно, не знаю; и еще я должен указать на некоторый курьез памяти: я не помню ни одного лица, ни старого, ни молодого. Очень хорошо помню платья, мужские и женские, черные и цветные, очень ясно вижу до сих пор даже один генеральский мундир, но над ним настолько бессилен вызвать памятью хоть какое-нибудь лицо, словно это не было настоящим и живым, а только вывеской у военного портного.

Возвращаюсь к тому дню, когда приехали студенты и тол-

стая дама с двумя дочерьми. После вина и танцев, в которых я принимал самое оживленное участие и всех смешил своей неловкостью, у меня сильно кружилась голова; и, придя в свою комнату, когда все разошлись, я, не раздеваясь, бросился на постель и тотчас же уснул. Проснулся я часа через два или три среди глубокой ночи: томила жажда и что-то еще другое, беспокойное и повелительное, звало меня проснуться и встать; было мертвенно-тихо в спящем доме, и за окном, у которого я забыл задернуть занавеску, стоял он. Помню, что я еще пожал плечами и, не торопясь, но в то же время не сводя глаз с окна, налил один за другим два стакана воды и выпил. Но он не уходил. И, уже леденя от холода, словно открылось окно наружу, в мороз и тьму зимней ночи, совсем позабыв о недавнем вечере с его танцами и музыкой, весь отдаваясь чувству дикой покорности и тоски, я медленно показал ему рукой на дверь и по-вчерашнему, в темноте, направился к выходу. И опять по-вчерашнему пахло мехом в передней, и был холоден железный засов, долго не поддававшийся усилиям моих дрожащих слегка рук; и снова, как вчера, уже стоял на площадке он и молча ждал. Я также молчал и ждал, очень внимательно почему-то прислушиваясь к далекому и одинокому лаю собаки, единственному живому звуку, нарушавшему безмолвие ночи; не знаю, сколько прошло времени, когда он вдруг шагнул в дверь, сильно толкнув меня плечом. Я последовал за ним и еще видел, когда он открывал дверь из передней в комнаты, его темный силу-

эт, мелькнувший на фоне далекого окна; и меня несколько не удивило, что он вошел в мою комнату – именно в мою комнату. Вошел и я, по привычке закрыв за собой дверь, но дальше порога не двинулся: было очень темно, я не знал, где он, и мог на него наткнуться. Только спустя некоторое, довольно долгое время, когда глаза мои освоились с полумраком комнаты, я увидел темное, высокое, неподвижное пятно у стены; если бы я не знал, что в этом месте стена пуста, я мог бы принять это пятно за какую-то мебель или грудку висящего платья. Дыхания не было слышно.

Времени прошло так много и неподвижность его была так ненарушима, что я начал сомневаться, и, сделав шаг вперед, далеко протянутой рукой осторожно коснулся пятна: на мгновение мои пальцы ощутили прикосновение к материи и чему-то за ней твердому, плечу или руке. Я отдернул пальцы и опять долго стоял, не зная, что я должен делать дальше; наконец я пересилил сухость в горле и громко, хотя и хриплым голосом, сказал:

– Что вам надо? Я только репетитор в доме.

Но он молчал, и мне стало смешно, что я сказал ему «вы». Но все же я понял из его молчания, что мне надо ложиться в постель; и я сделал это, медленно и по порядку раздевшись под его невидимым в темноте, но угадываемым взглядом, – сидел я на своей кровати, сильно скрипевшей при моих движениях, что меня почему-то очень смущало. И уже ложась под холодное одеяло, я еще подумал, что не выставил за

дверь ботинок, но решил: теперь все равно. Лег я навзничь, лицом вверх, иначе казалось невежливым; и в ту же минуту он сел, – осторожно подвинув меня к стене, – на край постели и положил свою руку мне на голову. Она была умеренно холодна и очень тяжела, и от нее исходили сон и тоска. В жизни моей я испытал много тяжелого, видел своими глазами смерть горячо любимого отца, не раз думал, несмотря на свою молодость, что сердце может не выдержать и разорвется от печали и горя, но такой тоски я даже не мог представить себе до этой ночи, до первого прикосновения к моему лбу этой холодной и тяжелой руки. Сразу же я почувствовал, что я засыпаю, но странно: сон и тоска не боролись друг с другом, а вместе входили в меня, как единое, и от головы медленно разливались по всему телу, проникали в самую глубину тела, становились моей кровью, моими пальцами, моей грудью. Я еще сознавал тот момент, когда тоска и сон дошли до сердца и залили его, но дальше все, и сознание, и страх, и отрывочные мысли о происходящем, – все погасло в чувстве единой и все исчерпывающей, все покрывающей тоски. Погасли все образы, все мысли и воспоминания, и отошла молодость; погасли все желания, сама жизнь погасла, и было душе так больно, такая тоска овладела ею, для какой нет на нашем языке ни образа сравнения, ни слова.

Уже стало совсем неинтересно, что возле сидит он и держит на голове свою страшную руку; и медленно, тоскуя смертельно, тоскуя неподвижно, тоскуя вне всяких пределов, ка-

кие полагает ограниченная действительность, – медленно я погрузился в сон без сновидений.

Утром я проснулся в свое обычное время. Комната была пуста, и все было на своем месте, как всегда. В окно светило красноватое, морозное солнце; чувствовал я себя ни плохо, ни хорошо, а как-то пусто и плоско, и в зеркале, одеваясь, увидел свое обычное, нисколько не изменившееся лицо – серое и некрасивое лицо часто голодавшего человека, которого никто не ласкает. И все было как обычно, как всегда, но одно я знал твердо: что-то изменилось в мире, и прежнего, еще вчерашнего мира нет и больше никогда не будет. Тут же, еще не выходя из комнаты, я сделал одно интересное и как-то тускло меня порадовавшее наблюдение: от недавнего страха перед загадочным призраком, терзавшего меня все это время, не осталось и следа. А выйдя в столовую, где уже собрались гости и Норден рассказывал при общем смехе свои анекдоты, я почувствовал непреодолимое отвращение ко всем этим людям. Настолько было велико отвращение, что, здороваясь, при каждом новом рукопожатии я испытывал чисто физическое ощущение томительной, подступающей к горлу тошноты. Правда, в течение шумного и разнообразного дня чувство отвращения сгладилось, почти исчезло, но каждое следующее утро начиналось для меня томительной тошнотой, идущей за каждым крепким пожатием незнакомой руки.

VII

В то же утро, возвратившись с прогулки, во время которой все мы под предводительством господина Нордена играли в снежки, я ушел на несколько минут в свою комнату и написал письмо товарищу-студенту, жившему в городе. Друзей в жизни у меня не было, и этот студент не был моим другом, но относился он ко мне лучше других, был добрый и хороший человек, всегда готовый помочь. Смысл письма и чувство, с которым я писал его, было то, что я нахожусь в ужасной опасности и он должен приехать и спасти меня; но выражено все это было в очень вялой форме, звучало скукой, почти равнодушием и едва ли достигло бы цели, пошли я письмо. Но почему-то я даже не послал его, и уже долго спустя, после выздоровления, я нашел его в кармане тужурки запечатанным и без адреса. Может быть, я тогда забыл адрес? Не знаю. Даты на письме нет; и вот что в нем написано: «Дорогой М. И., если вы не очень заняты, то приезжайте сюда. Здесь что-то происходит, и меня надо взять». И подпись.

И вообще надо думать, что с этого именно дня у меня началось то странное ослабление памяти, а временами почти полная потеря ее, вследствие которой на весь последний период моей жизни у Нордена ложится налет отрывочности и беспорядка. Я уже говорил, что я не помню ни одного лица многочисленных гостей Нордена и вижу только платья без

голов: как будто это не люди были, а раскрылся, ожил и за-танцевал платяной шкаф; но должен добавить, что и речей я не помню, ни одного слова, хотя знаю твердо, что все, и я с ними, очень много говорили, шутили и смеялись. Совершенно не помню я чисел и до сих пор не знаю, сколько времени, сколько дней и ночей прошло до того момента, как я покинул дом, – и иногда мне кажется, что прошло не менее нескольких недель, а иногда – что все совершилось в два-три дня. И в то же время я с величайшей ясностью помню отдельные мелочи, многие свои тогдашние мысли и чувства и храню ощущение от того периода не беспамятства, а наоборот, памяти твердой и сознания вполне ясного: как будто только теперь, после болезни, я забыл, что происходило, а тогда помнил все и все сознавал.

Так, первое, чего и нельзя забыть, я помню те ночные часы, когда приходил он и клал мне на голову свою холодную и тяжелую руку. Эти посещения стали как бы порядком моей жизни и каждый раз происходили при одних и тех же обстоятельствах: с вечера, когда гости расходились по своим комнатам, я, одетый, бросался в постель и несколько часов спал; потом в темноте шел в прихожую, открывал наружную дверь и впускал его, уже стоявшего на площадке. Потом мы шли в мою комнату, я раздевался и ложился навзничь под холодное одеяло, а он садился возле и клал мне на голову свою руку. И от руки исходили сон и тоска – сон и тоска. Страх перед незнакомцем совершенно исчез; правда, я никогда не пытал-

ся сам коснуться его или заговорить, но это не от страха, а от какого-то чувства ненужности всяких слов; и все делалось по виду так спокойно и просто, словно он не был величайшим злом и смертью моею, а простым, аккуратным, молчаливым врачом, ежедневно посещающим такого же аккуратного и молчаливого пациента. Но тоска была ужасна.

А потом начиналось короткое утро, лишенное света, и долгий, шумный, беспорядочный и, по-видимому, веселый вечер – очень быстро одно за другим. Не знаю, что сделали без меня с елкой, но с каждым вечером она горела все ярче и ярче, заливала светом потолок и стены, бросала в окна целые снопы ослепительного огня. И целый день с утра до ночи раздавался непрерывный смех Нордена и его приглашающий возглас:

– Танцирен! Танцирен!

Я не помню других голосов, но этот крик до сих пор стоит у меня в ушах, преследует меня во сне, врывается в глубину моих мыслей и разгоняет их. Покрывая музыку, смех, топот ног, весь тот шум, который производят люди, собравшиеся для веселья, резкий, как голос попугая, он звучал во всех углах и становился невыносим. И иногда Норден кричал весело и шутливо, но часто – как мне помнится – голос становился хриплым, почти угрожающим; казалось порою, что и сам он устал, но уже не может остановиться и кричит с угрозой, почти со слезами:

– Танцирен! Танцирен!

Один такой случай я хорошо помню. Не знаю, почему вдруг смолкла музыка наверху и наступила тишина, необычайная для этого времени; не знаю, не обратил внимания, вероятно, что делали гости, собравшись у стены, залитой светом елки. Помню только самого Нордена. Вероятно, он был пьян, потому что и борода его, и волосы были в беспорядке, и выражение лица у него было дикое и странное. Он стоял посередине комнаты и, потрясая кулаками, яростно вопил:

– Танцирен!

И кому-то грозил. Дальше была снова музыка и танцы; и в этот, кажется, вечер, именно в этот, состоялся тот самый большой, даже грандиозный бал, от которого у меня в памяти сохранился образ множества движущихся людей и необыкновенно яркого света, похожего на свет пожара или тысячи смоляных бочек. Положительно невозможно, чтобы на балу присутствовали только обычные гости Нордена: людей было так много, что, вероятно, были и другие, только на этот вечер приглашенные гости, потом разъехавшиеся. И с этим же вечером у меня связано очень странное чувство – чувство близости Елены: словно и она присутствовала на балу. Очень возможно, что в саду и на дворе действительно горели смоляные бочки и что я случайно или умышленно пробрался к тому месту берега, где стояла занесенная снегом пирамида, и долго думал там о Елене, но в тогдашнем состоянии моем вообразил себе иное – другого объяснения я не могу найти. Но это только объяснение, чувство же близости-

сти Елены было и остается до сих пор таким убедительным и несомненным, что всю правду я невольно приписываю ему; я помню даже те два стула, на которых мы сидели рядом и разговаривали, помню ощущение разговора и ее лица... но тут все кончается. И теперь мне кажется минутами: стоит мне сделать какое-то усилие над памятью – и я увижу ее лицо, услышу слова, наконец пойму то важное, что тогда происходило вокруг меня, но нет – я не могу, да и не хочу почему-то сделать это усилие. Пусть лучше будет так, как оно есть. Потом Елена ушла и больше уже не возвращалась.

Из тогдашних чувств моих особенно ясно сохранилось в памяти одно: будто я оказываюсь невольным и слепым свидетелем каких-то огромных и чрезвычайно важных событий, совершающихся возле меня, какой-то огромной мучительной и страшной борьбы недоступных моему зрению существ. Свидетелем я оказался случайным, ненужным и совершенно слепым, но самый воздух вокруг меня, в котором двигались, борясь, эти существа, колыхался так сильно размахом были так широки и властны, что и меня захватило в круговорот. Но не думаю, чтобы и сам Норден знал больше меня; и если он и был одним из действующих лиц, то, вероятно, не менее слепым, чем я, как свидетель. Но эти чувства и догадки, ничего не объясняющие, существовали только днем, а ночью приходил он – и все: волнения и догадки, желания и воля, все поглощалось смертельной, ни с чем не сравнимой тоской. И то, что тоска приходила вместе со сном, сливалась с ним во-

едино, делало ее непреодолимой и ужасной. Когда человек тоскует наяву, к нему еще приходят голоса и образы живого мира и нарушают цельность мучительного чувства; но тут я засыпал, тут я сном, как глухой стеной, отделялся от всего мира, даже от ощущения собственного тела, – и оставалась только тоска, единая, ненарушимая, выходящая за все пределы, какие полагает ограниченная действительность.

Не знаю, сколько прошло дней после необыкновенного бала, когда неумолчный крик Нордена: «Танцирен! Танцирен!» – вдруг оборвался внезапно, был поглощен хаосом каких-то других громких, беспокойных и многочисленных голосов. Так же внезапно оборвался и танец, был поглощен потоком какого-то нового движения, беспорядочного, хаотичного и печального, как печальны были голоса. Произошло это ночью, около того часа, когда должен был прийти он, и по характеру напомнило мне ту ноябрьскую ночь, когда была буря, и с невидимой госпожой Норден случился припадок. Я проснулся и, не знаю почему, не счел нужным выходить из комнаты; и так же равнодушно, с непонятной, но твердой уверенностью, что сегодня он не придет, я позволил себе раздеться и лечь в постель. Но голоса и движение по дому продолжались еще долго, и особенно настойчив был один звук: кто-то непрерывно бегал по деревянной лестнице вверх и вниз.

Взбегал вверх и тотчас же, с той же стремительностью и грохотом ног по деревянной пустой настилке, сбегал вниз;

и снова вверх, и снова вниз. В другое время этот беспокойный звук, говорящий о несчастье, показался бы мне мучительным и, конечно, не дал бы мне уснуть, но теперь я не думал о значении его и был даже рад: он давал мне эту уверенность, что, пока в доме шумят, он не посмеет прийти и я могу спать спокойно. И совсем равнодушно, без тоски и мыслей, как неживой, я быстро уснул, последним звуком унося в сон грохот пустых ступеней под тяжелой, беспокойной и торопливой ногой. Тогда я еще не знал, что он больше никогда уже не придет и никогда больше я не увижу широких плеч с маленькой темной головой.

Утром когда я проснулся в обычный час, в доме было необыкновенно тихо. Обычно в этот час уже начиналась жизнь, но теперь, после беспокойной ночи, все, даже прислуга вероятно, еще спали, и во всем доме царила необыкновенная тишина. Я оделся и вышел в столовую, и тут увидел: на том столе, где вчера мы ужинали, лежала мертвая женщина, обряженная так, как обыкновенно обряжают покойников.

Хотя я никогда не видал госпожи Норден, но тут сразу узнал – это была она.

VIII

Не было над нею ни свечей, ни чтеца, и стояла кругом ненарушимая тишина, и от этого мне показалось в первую минуту, что никто еще в доме не знает о смерти – так одинока была она на своем ложе. Но тотчас же я понял, что все они действительно спят, и перестал думать о них. Это было не от недостатка сознания: наоборот, именно в этот час вернулось ко мне сознание более ясным, чем оно было когда-нибудь раньше. Нет, потому я перестал думать о людях, что они стали не нужны.

Она была молода и прекрасна. Нет, она не была прекрасна, но она была та, которую я знал всю жизнь и всю жизнь любил. И любил я ее, не зная, что люблю, и искал ее, не зная, что ищу. Мне не нужно было заходить с той стороны, чтобы увидеть маленькое темное пятнышко у глаза, милую родинку – я и так знал, что она есть. Мне не нужно было касаться ее тонких ледяных пальцев, сложенных на груди, чтобы увидеть их живыми, такими я их знал всегда, и не нужно было поднимать мертвых век, чтобы увидеть ее знакомый взгляд, живое сияние дорогих и вечно любимых глаз. Мне жаль только ее дорогих и милых пальцев, которые должны были играть веселые, незнакомые танцы, пока там, внизу, смеялся и танцевал – смеялся и танцевал несчастный Норден. Прости его, он не знал. Прости и меня, что я чертил на песке пустое имя

Елена: я не знал тогда твоего имени – как не знаю и сейчас.

Нет, она не была прекрасна, и никто не мог бы сказать, какая она. Но она была та, которую я любил всю жизнь, не зная, что люблю. Всю жизнь я думал о других и о другом, а о ней не подумал ни разу, – и оттого все мысли мои были ложью; всю жизнь я видел другие лица, слышал другие голоса, а ее никогда не видал и голоса никогда не слышал, – и оттого ненастоящими казались мне все люди. Только тебя одну я знал, и только тебя одну не видел ни разу.

Я не могу припомнить вполне точных выражений, но так приблизительно думал я, стоя перед мертвой. Теперь я не знаю, насколько правдиво было тогдашнее чувство мое, и больше того: я не могу вспомнить отчетливо бледного лица, на которое смотрел так долго и которое – тогда – я знал так хорошо. Но я знаю, что чувство любви, внезапно открывшей свои глаза, было тогда глубоко и непостижимо, и так же глубока была начавшаяся тихо, но все растущая печаль. Кажется, я не сразу понял, что она мертва, и только постепенно, видя неподвижность трупа, ощущая пустоту и тишину мертвого дома, я начал чувствовать горькую и неутолимую печаль. Я заплакал и плакал долго, и так, продолжая плакать, плохо различая первые свои шаги, я вышел из норденовского дома.

Я вышел раздетый, только в одном сюртуке, без фуражки, но холода не почувствовал, да и день был не особенно морозный, иначе я, конечно, замерз бы в пути. На дорогу я не пошел, но, миновав сад с его глубоким снегом, выбрался на

берег и оттуда дальше в море. На льду снег был почему-то не так глубокий, идти было легче, и уже скоро я оказался далеко от берега, в центре пустынного, ровного и белого пространства. Плакать я перестал, ни о чем не думал и только шел, с каждым шагом точно растворяясь в пустоте белой и безграничной глади. Ни дороги, ни следа ноги, ни темного пятна не было передо мною и вокруг меня; и когда я, начиная уставать и поддаваться холоду, приостанавливался на минуту и озирался кругом, – всюду было то же пустынное, ровное, белое пространство, почти сама пустота, какую ее можно видеть только во сне. И скоро мое движение вперед приобрело все черты долгого и однообразного сна, покорной и безнадежной борьбы с неодолимым пространством; так, вероятно, грезят измученные оглохшие лошади к концу далекого пути и те особенные люди, что ходят из конца в конец земли и тягучим ритмом своих шагов гасят сознание жизни. Время от времени слой снега утолщался, ноги вязли в глубоких сугробах, и я останавливался, минуту смотрел вокруг и говорил:

– Какое горе! Какое несчастье!

Говорил я эти слова с таким выражением, как будто убеждал кого-то; и глаза мои, которыми я смотрел на бесконечную плоскую равнину, казались мне такими же белыми, мертвыми, ничего не отражающими, как снег. Но это было еще в начале пути, когда я что-нибудь говорил, – потом я совсем умолк и двигался и останавливался молча.

Долгое время холод совсем не был замечен, и голове и гру-

ди было даже приятно от острого ощущения воздуха, как бы отделявшего платье от тела, и просто, без боли и неприятного, стали неметь руки в локтях и ноги в коленях – трудно становилось сгибать их. Но я не думал и не понимал, что замерзаю, и все шел, внимательно разглядывая снег под ногами, – и снег был все один и тот же. И сколько я ни поднимал и ни опускал ногу, снег был все один и тот же. И наступила ли ночь действительно, или мрак шел изнутри меня, все вокруг меня начало медленно и тихо темнеть, из ровно белого превращаться в ровно серое, стало совсем не на что смотреть. А когда совсем не на что смотреть, то это слепота: я так тогда это и понял и дальше, не знаю сколько, шел уже слепой. Момента, когда я упал и началось беспомыслие, я не помню.

Больше сказать мне нечего.

Как передавали потом, меня нашли на льду и спасли рыбаки: случайно я упал на их дороге. В больнице у меня отрезали несколько отмороженных пальцев на ногах, и еще месяца два или три я был чем-то болен, долго находился в беспомыслии. У Нордена умерла жена, и он прислал денег на мое лечение. Больше о нем я ничего не слышал. Также не появлялся с той ночи он и, я знаю, больше никогда не появится. Хотя, приди он теперь, я, может быть, встретил бы его с некоторым удовольствием.

Дело в том, что я почему-то умираю. Они все допрашивают меня, что со мной и почему я молчу и отчего я умираю, – и эти вопросы сейчас самое трудное для меня и тяже-

лое; я знаю, что они спрашивают от любви и хотят помочь мне, но я этих вопросов боюсь ужасно. Разве всегда знают люди, отчего они умирают? Мне нечего ответить, а они все спрашивают и мучают меня ужасно. Живу я сейчас с М. И. – товарищем, которому я писал, – он очень любезен и через неделю, в конце мая месяца, хочет взять меня куда-то в деревню. Это все хорошо, я ничего не возражаю, но не нужно все время спрашивать, не надо говорить так много. Как мне объяснить ему, что молчание – есть естественное состояние человека, когда сам он настойчиво верит в какие-то слова, любит их ужасно.

Вчера вечером мы ездили на острова. Там очень хорошо, было много гуляющих. Вышла в море, несмотря на ночь, какая-то яхта с очень белыми парусами и долго еще виднелась на горизонте.

Да: кажется, нужно еще добавить, что я не люблю ни Елены, ни госпожи Норден и совсем не думаю о них. Теперь все.